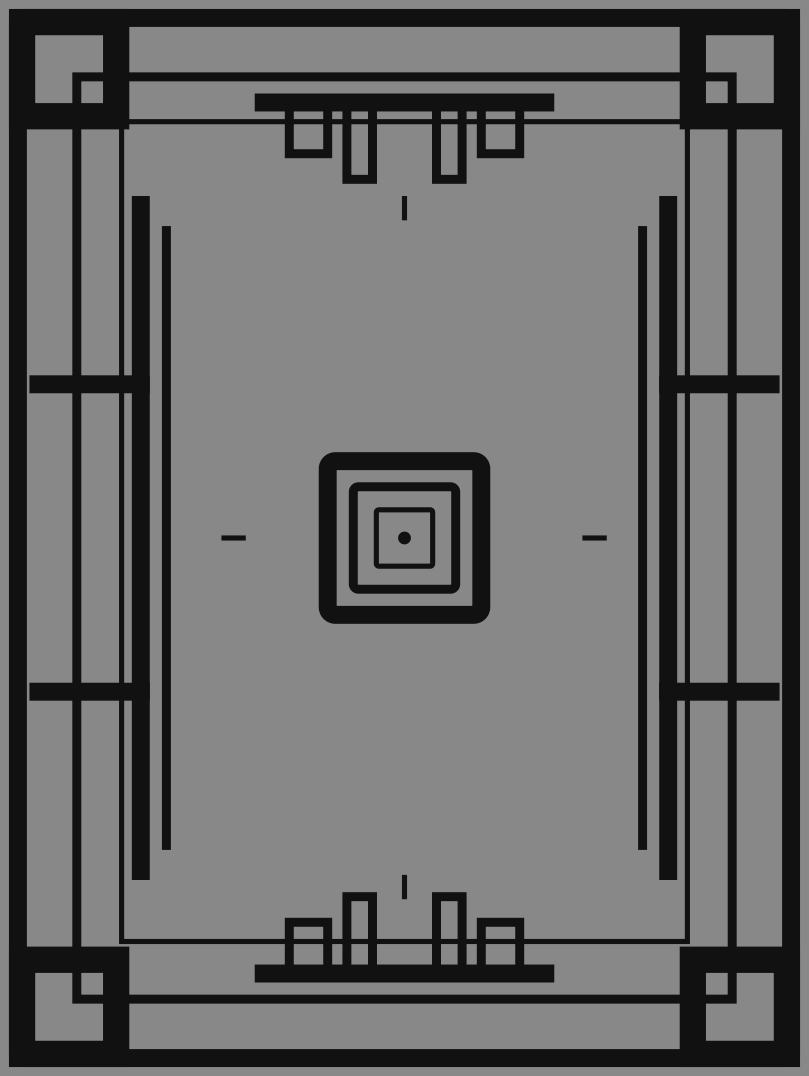


Грусть Корнелия Берга
Маргерит Юрсенар

Маргерит Юрсенар. ГРУСТЬ КОРНЕЛИЯ БЕРГА

Маргерит Юрсенар
ГРУСТЬ КОРНЕЛИЯ БЕРГА

Корнелий Берг, вернувшись в Амстердам, остановился на постоялом дворе. Он часто снимался с места: переезжал всякий раз, когда нужно было платить, иногда пописывал миниатюры и жанровые портреты на заказ и, временами, небольшие ню на любителя или бродил по улицам в поисках удачи.

К несчастью, его рука дрожала; он вынужден был прибегать к помощи очков со все более сильными стеклами; вино, к которому он пристрастился в Италии, в паре с табаком окончательно погубило остатки той легкости, какой он раньше похвалялся.

Он досадовал, отказывался продавать картины, неприятно удивлял всех произведениями, перегруженными деталями, и кончал тем, что переставал работать вообще.

Он проводил долгие часы в глубине таверн, затуманенных, как сознание пьяницы, где старые ученики Рембранта, бывшие однокашники Корнелия Берга, оплачивали ему выпивку, надеясь, что он расскажет им о своих странствиях.

Но страны, запыленные солнцем, где Корнелий набивал руку, и цветные пузыри его фантазии оказывались менее ясными в памяти, нежели казались в проектах.

Он больше не рождал, как в былые времена, крепких острот, заставлявших хохотать служанок. Те, кто помнил шумного Корнелия, удивлялись, находя его таким неразговорчивым. Лишь вино развязывало ему язык — тогда он ударялся в немыслимые и непонятные разглагольствования.

Он сидел, отвернувшись к стене, с надвинутой на глаза шляпой, чтобы не видеть окружающих: он говорил, что они ему опротивели.

Корнелий, старый портретист, надолго осевший в каморке в Риме, провел всю свою жизнь, копаясь в человеческих лицах.

И вот теперь он отвернулся от них с презрительным равнодушием. Он дошел до того, что утверждал, будто не любит рисовать животных, столь похожих на людей.

По мере того, как пропадал талант, казалось, его посещал гений. Он устраивался в душевном смятении на мансарде перед мольбертом, установив перед собой купленный втридорога редкий красивый фрукт и торопливо пытался воспроизвести его на холсте, пока сверкавшая еще кожица не потеряла свою свежесть. Иногда он рисовал простой котел или обыкновенные очистки.

Желтоватый свет наводнял комнату. Дождь

покорно омывал стекла. Сырость была повсюду.

Влажное начало соком набухало на шероховатой поверхности апельсина, раздувало деревянную обшивку стен, немного возмущавшихся по этому поводу, обесцвечивало медь кувшинов и горшков.

Но вскоре он оставил кисти. Его окоченевшие пальцы (они раньше были так проворны, когда писали на заказ спящих Венер или светлобородых Иисусов, благословлявших голых детей и задрапированных женщин) отказывались переносить на полотно эту двойную влажную и светящуюся расплавленную массу, пропитавшую вещи и увлажнившую солнце.

Его изуродованные руки приобретали вдруг ласковую заботливость, прикасаясь к вещам, которые он больше не рисовал.

На грустной улице Амстердама он мечтал о полях, дрожащих от росы, красивее берегов Аньо, пустынных, чересчур мрачных и словно закрытых для людей.

Этот старик, над которым, казалось, посмеялась жизнь, был близок к смерти. Он подхалтуривал то здесь, то там, рисуя убогие полотна, и в мечтах приравнивал себя к Рембрандту.

Ни с кем не поддерживал отношений. Род-

ственники его уже не узнавали, а те, кто узнавал, не замечали. Лишь старый Синдик де Гаарлем здоровался с ним.

Он работал всю весну в этом маленьком, чистом и светлом городке, где его нанимали размалевывать ложные панели на стене церкви. Вечерами, когда работа заканчивалась, он не отказывался посетить Синдика — старика, тихо сошедшего с ума из-за косности существования без случайностей, который жил один, оставленный на нежное попечение служанки, и ни черта не смыслил в произведениях искусства.

Он поставил тонкую перегородку из крашеного дерева; в садике рядом с каналом его поджидал среди цветов любитель тюльпанов. Корнелия совсем не волновали эти бесценные луковицы, но он был способен различить мельчайшие детали, всевозможные нюансы оттенков. Именно потому старик Синдик и приглашал его, когда появлялась новая разновидность цветка: никто лучше Корнелия не мог описать словами бесконечное разнообразие белых, голубых, розовых и сиреневых тюльпанов.

Тонкие, несгибаемые, патрицианские чашечки пробивались сквозь жирную черную почву: нежный аромат, исходивший от земли, витал в

одиночестве над цветниками без запаха. Старик Синдик брал горшочек, ставил его на колени и, держа стебель в двух пальцах, как для обрезания, молча любовался этим хрупким чудом. Они мало разговаривали: Корнелий Берг выражал свое мнение кивком головы.

В тот день Синдик был счастлив: он вывел бело-фиолетовый цветок с лепестками, имевшими струйчатость ириса. Он оценивал его, поворачивал во все стороны и, наконец, взяв на руки, произнес: «Бог великий художник!» Корнелий Берг не ответил. Безмятежный старик повторил: «Бог — художник вселенной!»

Корнелий Берг смотрел то на цветок, то на канал, чье тусклое, свинцового цвета стекло отражало лишь бордюры из зелени, кирпичные стены и белье, приготовленное для стирки хозяйками. Но Берг — уставший от дорог бродяга — неясно видел в нем всю свою жизнь. Он снова различал черты тех лиц, что замечал за долгие годы путешествий по грязному Востоку, неряшливому Югу; скупость, глупость или жестокость, появившиеся в таком прекрасном климате; пристанища нищих, постыдные болезни, поножовщины перед тавернами; иссохшие глаза ростовщиков и прекрасные тучные телеса его модели; Фредерика

Герритцдохтера, распростертого на анатомическом столе в медицинской школе Фрибурга. Потом к нему пришло другое воспоминание:

В Константинополе, где он написал несколько портретов султанов для посла Объединенных Провинций, у него была возможность полюбоваться садом тюльпанов, счастьем и гордостью паши, который рассчитался с художником, чтобы увековечить себя в своем отрывистом совершенстве, цветочным гаремом.

В обрамлении мрамора тюльпаны ярких или нежных расцветок, казалось, по особенному трепетали и шелестели. Над водоемом пела птица, острые верхушки кипарисов пронзали бледно-голубое небо.

Но раб, который по приказанию господина принес иностранцу эти диковины, был одноглаз. На недавно потерянном глазу его скопились мухи.

Корнелий Берг глубоко вздохнул. Потом, сняв очки, произнес:

— Бог — художник вселенной.

И с горечью громко добавил:

— Какая жалость, господин Синдик, что Господь Бог не ограничился пейзажами!